

**Аполлон Александрович
Григорьев**

**Взгляд на русскую литературу
со смерти Пушкина. Пушкин. –
Грибоедов. – Гоголь. –
Лермонтов**

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82.09
ББК 83.3

Аполлон Александрович Григорьев

Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Пушкин. – Грибоедов. – Гоголь. – Лермонтов / Аполлон Александрович Григорьев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 48 с.

ISBN 978-5-458-04365-6

Аполлон Григорьев - русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, автор ряда популярных песен и романсов.

ISBN 978-5-458-04365-6

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

А. А. Григорьев
Взгляд на русскую
литературу со смерти
Пушкина
Пушкин. – Грибоедов. –
Гоголь. – Лермонтов

I

В 1834 году в одном из московских журналов, пользовавшемся весьма небольшим успехом, но взамен того отличавшемся серьезностью взгляда и тона, впервые появилось с особенною яркостью имя, которому суждено было долго играть истинно путеводную роль в нашей литературе. В «Молве», издававшейся при «Телескопе» Надеждина, появлялись в течение нескольких месяцев статьи под названием «Литературные мечтания». Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вместе наивной смелостью, жаром глубокого и внутри души выросшего убеждения, прямым и нецеремонным поставлением вопросов, наконец, тою видимой молодостью энергии, которая дорога даже и тогда, когда впадает в ошибки, – дорога потому, что самые ошибки ее происходят от пламенного стремления к правде и добру. «Мечтания» так и дышали верою в эти стремления и не щадили никакого кумиропоклонения, во имя идеалов разбивали простейшим образом всякие авторитеты, не подходившие под мерку идеалов. В них выразилось первое сознательное *чувство* нашей критики – я говорю *чувство*, а не *взгляд* – ибо в них все было чувство. Так как по общему органическому закону мироздания ни одна мысль не является в стройной форме, не пройдя наперед несколько форм, так сказать, допотопных, – то и «Литературным мечтаниям» Виссариона Григорьевича Белинского (под ними подписался он еще таким образом: – он... инский. Чембар. 1834 г. дек. 12 дня; но все молодое поколение знало хорошо имя того, кто так смело и честно высказал то, что жило во всех, носилось в воздухе эпохи) – и «Литературным мечтаниям» – говорю я – предшествовали критические *динофериумы* Никодима Надоумки – смелые, резкие, но неуклюжие и безвкусные выходы против застарелых мыслей... Но какая разница обличалась с первого же раза между деятельностью Белинского и деятельностью Никодима Надоумки! Вся правда и энергия Никодима Аристарховича пропадали даром вследствие семинарского безвкусыя тона и положительного отсутствия чувства изящного: все заблуждения и промахи Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в ярком и истинно поэтическом понимании. И только при таких условиях могло пройти столько истин, и только при таких условиях могло начаться то дело, которого «Литературные мечтания» были первым камнем.

«Литературные мечтания» – не более не менее как ставили на

очную ставку всю русскую литературу со времен реформы Петра, литературу, в которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже несколько гениев, которую привыкли уже считать за какое-то *sacrum*¹, – и разве только подчас какие-нибудь пересмешники повторяли стих их старика Вольтера: «*Sacres ils sont, car personne n'y touche*»². Пересмешников благомыслящие и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хераскову и чуть ли не Николеву; всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством, а гениальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзию первых гоголевских созданий почувствовали еще очень немногие, и из этих немногих, во-первых, сам *Пушкин*, а во-вторых, автор «Литературных мечтаний».

Между тем умственно-общественная ложь была слишком очевидна. Хераскова уже положительно никто не читал, Державина читали немногие, да и то не целиком; читалась история Карамзина, но не читались его повести и рассуждения. Сознать эту ложь внутри души могли многие, но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смело высказать всем, – мог только призванный человек, и таким-то именно человеком был Виссарион Белинский.

Дело, начатое им в «Литературных мечтаниях», было до того смело и ново, что чрез много лет потом казалось еще более чем смелым – дерзким и разрушительным всем почтительным потомкам невзыскательных дедов, – что чрез много лет потом оно вызывало юридические акты в стихах, вроде следующих:

Карамзин тобой ужален,
Ломоносов – не поэт!

Но – странным образом – начало этого дела в «Литературных мечтаниях» не возбудило еще ожесточенных криков. До этих криков уже потом *додразнил* Белинский своих противников, – хотя весь он с его пламенной верою в развитие вылился в своем юношеском произведении, – хотя множество взглядов и мыслей целиком перешли из «Литературных мечтаний» в последующую его деятельность, – и хотя, наконец, – положительно можно сказать, с этой минуты он, в глазах всех нас, тогдашнего молодого племени, стал во главе сознательного или критического движения. В ту эпоху, которой первым сознанием были «Литературные мечтания», – кроме старых, уже не читаемых, а только воспоминаемых авторитетов, был еще живой авторитет, Пушкин, – только что появился почти в печати Грибоедов, – и только что вышли еще «Вечера на хуторе близ

Диканьки». В эту эпоху, впрочем, не Пушкин, не Грибоедов и не «Вечера на хуторе» тревожили умы и внушали всеобщий интерес. Публика охладела на время к Пушкину, с жаром читала Марлинского, добродушно принимала за правду и настоящее дело разные исторические романы, появлявшиеся дюжинами в месяц, с тайной тревогою прислушивалась к соблазнительным отголоскам юной французской словесности в рассказах барона Брамбеуса и под рукою почитывала переводные романы Поль де Кока.

Белинский был слишком живая натура, чтобы не увлечься хоть несколько стремлениями окружавшего его мира, и впечатлительность его выразилась в «Литературных мечтаниях» двумя сторонами: негодованием на тогдашнюю деятельность Пушкина и лихорадочным сочувствием к стремлениям молодой французской литературы. Из этих сторон только первая требует пояснения, – вторая в нем не нуждается. Белинский не был бы Белинским, не был бы гениальным критиком, если бы полным сердцем не отозвался на все то, что тревожило поколение, которого он был могущественным голосом. Чтобы идти впереди нашего понимания, он должен был понимать нас, наши сочувствия и вражды, должен был пережить поклонения бальзаковскому Феррагусу и «Notre Dame»³ В. Гюго. Человек гораздо старше его летами и, может быть, пониманием, хотя гораздо слабейший его относительно даровитости, Н. И. Надеждин написал в своей статье «Барон Брамбеус и юная словесность» несколько страниц в защиту этой словесности, в которой он видел необходимую для человечества анатомию; и, без всякого сомнения, подобная защита была и выше и разумнее в свое время пустых насмешек. *Не сочувствовать* юной словесности имел тогда право, может быть, только Пушкин, ибо в нем одном такое несочувствие было прямое, художнически разумное и чуждое задних мыслей. Его орлиный взгляд видел далеко вперед, так далеко, как мы и теперь еще, может быть, не видим. Остальные, исключая разве того немногочисленного мыслящего кружка, которого представителем был И. В. Киреевский – автор первого философского обозрения нашей словесности, – или лукавили в своем несочувствии, или не сочувствовали потому, что давно потеряли способность чему-либо серьезно и душевно сочувствовать, или, наконец, в основу своего несочувствия клали узенькие моральные сентенции и – что еще хуже – побуждения вовсе не литературные. А Белинский не был ни уединенным, строго логическим мыслителем, как И. В. Киреевский, ни одним из опекунов нравственности и русского языка, – он был человек борьбы и жизни. Все наши сомнения и надежды выносил

он в своей душе – и оттого-то все мы жадно слушали его вулканическую речь, шли за ним как за путеводителем – в продолжение целого литературного периода, до тех пор, пока... переворот, совершившийся в художественной деятельности Гоголя, не разделил всех мыслящих людей на две литературные партии.

Но об этом речь впереди. Имя Белинского, как плющ, обросло четыре поэтических венца, четыре великих и славных имени, которые мы поставили в заглавии статьи, – сплелось с ними так, что, говоря о них как об источниках современного литературного движения, – постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! – едва ли даже, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому. И дан этот удел совершенно по праву. Горячего сочувствия при жизни и по смерти стоил тот, кто сам умел горячо и беззаветно сочувствовать. Бесстрашный боец за правду – он не усумнился ни разу отречься от лжи, как только сознавал ее, и гордо отвечал тем, которые упрекали его за изменения взглядов и мыслей, что не изменяет мыслей только тот, кто не дорожит правдой. Кажется даже, он создан был так, что натура его не могла устоять против правды, как бы правда ни противоречила его взгляду, каких бы жертв она ни потребовала. Смело и честно звал он первый гениальным то, что он таковым сознал, и благодаря своему критическому чутью ошибался редко. Так же смело и честно разоблачал он, часто наперекор общему мнению, все, что казалось ему ложным или напыщенным, – заходил иногда за пределы, но в сущности, в основах *никогда* не ошибался. У него был ключ к *словам* его эпохи, и в груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теории увлекали его, как и многих, но в нем было всегда нечто высшее теорий, чего нет во многих. У него – теоретики назовут это слабостию, а мы великою силою – никогда не доставало бы духу развенчать во имя теории сегодняя то, что сознал он великим и прекрасным вчера. Он не мог холодно отвернуться от Гоголя, он не написал бы никогда, что г. Н или Z, как проводители принципов, имеют в нашей литературе значение высшее, чем Пушкин.

И между тем Белинский начал свое дело тем, что вместе с толпою горевал об утрате прежнего Пушкина, то есть Пушкина «Кавказского пленника», первых глав «Онегина» и проч. Как объяснить этот странный факт?.. И прежде всего не говорит ли этот факт против легкости в перемене взглядов и убеждений, в которой упрекали Белинского его враги? Белинский слишком глубоко воспринял в себя первую, юношескую деятельность Пушкина, слишком крепко

сжился с нею, чтобы разом перейти вместе с поэтом в иные, высшие сферы. Он и перешел потом, перешел искренне, но только тогда, когда сжился с этим новым воздухом. Вполне дитя своего века, он не опередил, да и не должен был опережать его. Чем дольше боролся он с новою правдою жизни или искусства, тем сильнее должны были действовать на поколение, его окружавшее, его обращения к новой правде. Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь стоял бы во главе критического сознания по той простой причине, что сохранил бы возвышенное свойство своей натуры: неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни...

Есть нечто неотразимо увлекательное в страницах «Литературных мечтаний», посвященных Пушкину: чувство горячей любви бьет из них ключом; наивность непонимания новых сторон поэта идет об руку с глубоким, душою прочувствованным пониманием прежних, и многое, сказанное по поводу этих прежних сторон, — никогда, может быть, уже так свежо и девственно страстно не скажется!

II

«Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чутьем и удивительною способностью принимать и отражать всевозможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; *он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям*, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность *вековых правил, самую мудростию извлеченных из писаний великих гениев* (слова эти – курсивом в оригинале и относятся к тогдашнему поклонению установленным авторитетам), и с удивлением узнавая о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей до того взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да – Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, – *но мира русского, но человечества русского*. Что делать? Мы все гении-самоучки, мы всё знаем, ничему не учившись, всё приобрели, веселясь и играя, словом,

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь.

Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду:

Чтоб в просвещении стать с веком наравне, —

от труда опять к младым играм, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. *Ему недоставало только немецко-художественного воспитания (?)*. Баловень природы, он, шая и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни... Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами... Он пел – и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон, носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму вод или жур-*

чанью ручья (курсивом в оригинале). Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечислить и описать все деревья и цветы Арმიдина сада. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; *у него по большей части всё поэмы*: его поэтические тризны над урнами великих, его «Андрей Шенья», его могучая беседа с «Морем», его вещая дума о «Наполеоне» – поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал в литературе десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер, или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска; где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою: где теперь эти картины жизни и природы, пред которыми была бледна жизнь и природа?.. *Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так странно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!*.. Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, которого не могли убить ни иступленные похвалы энтузиастов, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина?.. *И однако ж, не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях*; предоставим времени решить этот запутанный вопрос. *О Пушкине судить не легко*. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждений; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Зарею и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры, что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть скажут, что это – пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...» («Молва», 1834 г., ч. VIII, стр. 397 – 400). Сколько размышлений возбуждают эти пылкие юношеские страницы, на которых, повторю опять, глубокое понимание идет об руку с странным непониманием. Не ясно ли, что самое непонимание новых сторон, открывавшихся в Пушкине, было следствием слишком живого проникновения природы критика прежними его созданиями! Иначе как объяснить, что человек, который равно ценил и лирические и юмористические стороны гения Пушкина, – стало быть, и «Цыган», и «Графа Нулина» (а надобно припомнить *непристойную* статью Никодима Надоумки по поводу «Графа Нулина»!) – не понял «Гусара», напечатанного в «Библиотеке для чтения», не понял стремления Пушкина к Шекспиру, выразившегося в «Анджело»? И между тем этот юноша, не понявший «Анджело» и «Гусара», *верит* упорно в Пушкина, видит в нем выражение современного ему мира, «но *мира русского*», – верит, наконец, в душу поэта, разлитую в его созданиях и тесно с ними соединенную, живущую одною с ними жизнью! Не говорю уже о том, что юноша, ставши мужем, понял и «Анджело», и «Гусара», и «Каменного гостя»!

Все это в 1834 году.

А в 1857 и 1858 годах являются в журналах наши статьи, где то оправдываются отношения Полевого к Пушкину и Полевой ставится выше *по убеждениям*, – то гг. NN, ZZ приписывается как проводителям принципов больше значения в русской литературе, чем Пушкину, – то, поклоняясь произведению, действительно достойному уважения, как «Семейная хроника», вовсе забывают о «Капитанской дочке» и «Дубровском»!.. А в 1859 году является статья,